

175 лет назад упокоился Николай Михайлович Карамзин; упокоился — только этот глагол уместен по отношению к обладателю стольких и таких добродетелей. Уж не холерик Пушкин, не желчный Лермонтов, едва ли не кощунственно торопившие смерть.

Но начнем не с Карамзина. Все-таки — с ученика, соперника и отчасти хулителя. Я помню море пред грозой: Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередой С любовью лечь к ее ногам!

Мария Волконская, «декабристка», уверяет в мемуарах: это о ней. Это ее игрой с черноморским прибоем любовался влюбленный Пушкин.

Верим! Но как объяснить, что наяву пережитое одним поэтом есть почти заимствование из другого?

Гонясь за нею, волны там Толкают в ревности

друг друга, Чтоб вырвавшись скорей из круга,

Смирненно пасть к ее ногам...

Нет, и это еще не Карамзин. Однако уже один «из них». Ипполит Богданович, который в век сурового классицизма в поэме «Душенька» итрово изложил историю Амура и Психеи, бросив, может быть, вызов, ну допустим, «Россиаде» Хераскова, неподъемному эпосу, не опустившемуся ниже, чем история покорения Иваном Грозным Казанского царства.

А тут — в точности, как напишет все тот же Пушкин Жуковскому: ты, дескать, спрашиваешь, какая цель у «Цыганов»? «Вот на! Цель поэзии — поэзия...»

Итак, каким образом рождаются подобные — опережающие! — плагиаты? Загадка. Таковой и пребудет. Важно, что уже в XVIII веке оказалось возможным... Да вот именно это, такое, с определением чего подождем.

Аналог, соседству с которым благонамереннейший Богданович неприятно бы удивился: скандально славный Иван Барков. Славный, впрочем, скорее, тем, чего не писал, — взяты хоть «Луку», столь очевидно меченного XIX веком, что была даже версия авторства опять-таки Пушкина. Только не Александра Сергеевича, а его легкомысленного брата Льва, Левушки.

Ведь и он, Барков, на гладкой поверхности выглядевший как переводчик античных поэтов и автор «Жития князя Антиоха Дмитриевича Кантемира», в неподцензурной, подпольной части своего творчества — бомбист, взрывающий основы современного ему стихотворчества, чей стиль определяется прежде всего чинной торжественностью оды.

В 1872 году в Санкт-Петербурге издадут наконец «Сочинения и переводы И. С. Баркова 1762—1764 гг.», то есть лишь ранние, где нет «ничего такого». И автор анонимного предисловия, назвав Баркова «одним из даровитейших современников Ломоносова», тем острой пожелает о «полном падении» такого таланта. Обвинит в «цинизме», в «грязи» и нечаянно, как бывает с хулителями, выскажет необидную правду: «сквернословие для сквернословия». Мол, ладно бы сквернословил с пользой и целью, а так...

Но это же чистый парадокс той самой формулы свободы творчества: «Цель поэзии...» и т.д.

Признаемся: разве пример Баркова, озоровавшего ради озорства, не оправдывает — самым лестным образом! — то, от чего мы (не все, не все) воротили или воротим нос? К примеру, от того странного, но, выходит, и традиционного понимания свободы, когда се-

резные, казалось, прозаики вроде Василия Аксенова или Владимира Максимова, вырвавшись на «тамиздатскую» волю, принялись метить территорию этой воли густой матерщиной или называнием предметов и актов, считавшихся непечатными. Тем паче — разве сей историко-литературный экскурс не лестен для постмодернистов-концептуалистов, чьи имена надоели уже поминать?

Честно скажу: хотел бы иметь право на лезть — и даже пытался польстить, но и об этом позже.

Денис Давыдов всю жизнь гордился признанием, сделанным ему молодым Пушкиным: будто бы тот, прельстясь бесшабашной свободой стихов партизана-поэта (и в поэзии партизанившего), «стал писать свои круче». Удастся ли сосчитать, сколько поэтов раскрепостил непотребный Барков? Скольких отучил от чрезмерной серьезности? И все же самым результативным из

себя ощущает в «Письмах русского путешественника»: «У прекрасной девушки купил я корзину черной вишни, хотя мелкой, однако ж отменно сладкой и вкусной, которая прохледила внутренний жар мой. Теперь, сидя в трактире за большим столом, дожидаясь ужина».

Всего-навсего признание в гурманстве? Но таким ли еще гастрономом, даже обжорой был Фонвизин! Нет, здесь иное самосознание — и литературное, и общественное.

Что вспоминаем прежде всего, услышав заглавие «Бедная Лиза»? «И крестьянки любить умеют». Кто ж этого прежде не знал? Но в самом деле — не знали. По крайней мере, не ощущали так остро, и вот влюбленные начинают ездить к Симонову монастырю, дабы погрузиться над «Лизиным прудом». И иные девушки топят: началась эпидемия самоубийств, сравнивая

сударь правит, дворянин служит, крестьянин платит оброк. А поэт, не нарушая стройности, восхваляет государя или непосредственное начальство, то есть служит в поэзии, как в департаменте.

О службе нельзя забывать, даже находясь в отпуске. Даже в отставке.

Но: «Мои безделки» — назовет Карамзин свой поэтический сборник 1794 года. И мысль, отнюдь не бездельную, подхватит его друг и соратник Иван Дмитриев, озгаваив уже свою книгу: «И мои безделки», — а уж его не упрекнешь в уклонении от государственных дел: был полковником гвардии, обер-прокурором Сената, министром юстиции...

Стоп! Но ведь еще до них было сказано: «Что касается до моих сочинений, то я смотрю на них как на безделки» — и кем сказано! Той же Екатериной. Сходство? Подражание высочайшему примеру? Нет. Решим

Гнушаться издала пороком И ясным, терпеливым оком Взирать на тучи, вихрь сует...

Задумаемся: жить в мире с собою — «без страха и надежды...». Страх — понятно, но, значит, и надежда мешает умиротворению?

Кажется, именно так: Ах! зло под солнцем бесконечно, И люди будут — люди вечно.

А потому: Пусть громы небо потрясают, Злодеи слабых угнетают, Безумцы хвалят разумсвой! Мой друг! не мы тому виной.

стародум

ведущий рубрики-станиславрассадина



СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ



ВЗРЫВНИК

Новая газ. — 2001 — 14 июня — с 6

Воспримем ли урок свободы?

взрывников был не этот злостный нарушитель приличий, но тот, чье благонравие вечно служило укоризной для литературных буянов, включая Пушкина — Карамзин, первейший из российских сентименталистов, кто — как раз по этой причине — подрывал классицизм с его строгим регламентом. Всего лишь тем, что со всей беспартийной прямоотой или чаще косвенностью утверждал: мы творим добро не согласно велениям долга, но потому, что мы — люди.

Когда в 1777-м Денис Фонвизин впервые въедет во Францию, он, едва пересекши границу, начнет почем зря поносить французов: «Господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем... В другой раз во Францию не поеду». (Поехал-таки.)

Брюзгливый характер? Или, не дай бог, шовинизм? Ни то, ни другое: инстинкт государственности, и если ревность, то вот какого рода: «Если здесь прежде нас жить начинали, то по крайней мере мы, начиная жить, можем дать себе такую форму, какую хотим... Мы начинаем, а они кончают». Утешение, ставшее в России традиционным, — так или иначе, к сожалению. Даже, возможно, к несчастью.

Что здесь происходит? Частный человек, у которого все основания с любопытством взирать на новое и неправильное, на глазах превращается в государственного мужа, ревниво прикидывающего, в чем «мы» лучше «их». Но вот всего двенадцатью годами позже за границу отправляется Карамзин. И вот как он

разве что с будущим подражателем гибели Есенина.

И сама беспримерная трогательность «Бедной Лизы» — не оттого ли, что Карамзин вывел свою героиню из того сословного круга, в котором, как полагали, лишь и возможны утонченные, «просвещенные» чувства?

Не в том дело, что он призвал взглянуть на язы нищего брата. Ему в голову не пришло поселить Лизу в курной избе, сделать скотницей или пряхой. Карамзин извлекает ее из быта, помещает, используя нынешнее сравнение, в лабораторную колбу. Лизе нужно сочувствовать не за то, что она — существо «низшего» круга. Она — человек, вот и все. И любить умеет, как все люди. Чего еще надобно для сострадания?

«Палашка где?» — lautet фонвизинская Простакова, доискиваясь крепостной служанки. И, услышав доклад: «Захворала, матушка, лежит с утра!», подает знаменитую реплику: «Лежит! Ах, она бестия! Лежит! Как будто она благородная! При всей комической заостренности — это сознание обыденное. Палашка — бедная Лиза, за которой не признают права чувствовать и страдать. Карамзин — признал.

Его смелость была и в том, что открытие насчет умения чувствовать, доступного поселянам, наводило на мысль: у всякого человека есть личные функции, неподвластные ни монарху, ни нормативному долгу. Не имеющие отношения к строгому распорядку феодального общества, где го-

тельное несходство. И почти вызов, если даже невольный.

Одно дело, когда подданный, не спросив, уходит в отпуск и тем более подает в отставку из официальной словесности, заявляя, что хвалебным одам или гражданским сатирам отныне предпочитает безделки. В точности как государственной службе — частную жизнь (что станет обычаем еще не скоро — тогда отщепенец Сухово-Кобылин захочет, чтоб на его надгробии написали: «Никогда не служил»). И другое дело, когда монарх, Екатерина, предупреждает своих литераторов: не суйтесь, куда не след. Веселитесь, подобно мне. А не то...

Странное дело. В своей знаменитой «Истории» Карамзин словно бы человек XVIII столетия. И напротив: его художественные произведения, писанные как раз в эпоху Екатерины, рожают ассоциации не с тем, что было, а с тем, что будет.

«Давно, усталый раб, замыслил я побег...» — напишет измученный Пушкин. Но нечто похожее замислит и Карамзин, еще никак не уставший. Ни по возрасту (двадцать восемь), ни по царящим в обществе настроениям. Тем не менее: А мы, любя дышать

свободно, Себе построим тихий кров За мрачной сению лесов, Куда бы злые и невежды Вовек дороги не нашли И где б, без страха и надежды, Мы в мире жить с собой могли,

Достоин ли утешаться собственным бессилием, находя в нем даже некое удовлетворение? Еще страннее, что: «Мой друг!» — это взывает Карамзин — к Дмитриеву. Человек с истинно государственным мышлением — к человеку, не прерывавшему государственной службы. И удивительное противоречие означает: «порвалась связь времен».

Как дуралей Иванушка из фонвизинской комедии «Бригадир» демонстрировал свою межеумочность: «Тело мое родилось в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской», так тело умнейшего человека Николая Михайловича Карамзина как бы живет по законам внешнего мира. В настоящем. В сегодняшнем. А дух просится куда-то вовне. В будущее. В завтра.

Поймем ли трагическое состояние того, кто оказался верхом на лезвии, отсекающем будущее от настоящего? (Между прочим, не это ли, хоть отчасти, толкнуло Карамзина к «Истории» — как потребность укоренения и остойчивости?) Воспримем ли урок свободы?..

На последний вопрос надо бы вроде ответить оптимистически: уже восприняли — и давно! Чего стоит памятное со школы звание «карамзинисты» (понимай: «новаторы»), из круга которых вышли Жуковский, Вяземский, Пушкин. Сам игровой стиль их молодости, их — даже! — самоигровое существование, увлечение стихотворной дразнилкой, пародий, «галиматией» (выражение Юрия Лотмана) означали ни мало ни много обновление литературы. Все!

«Система нуждалась в контрастах и сама их создавала, — объяснял тот же Лотман при страстии карамзинистов к веселой «галиматии». — Литература, стремящаяся к строгой нормализации, нуждается в отверженной неофициальной словесности и сама ее создает. Если литературные враги давали карамзинистам образцы «варварского слога», «дурного вкуса», «бедных мыслей», то «галиматией», игру с фантазией, непечатную фривольность и не предназначенное для печати вольномыслие карамзинисты создавали сами».

Аналогия — вновь! — злободневна донельзя. Значит ли это, однако, что и нынешний наш «авангард» есть симптом рождения в литературе чего-то истинно нового и великого?

Хорошо бы. Но вспоминаю, как несколько лет назад я в безумном припадке великодушия допустил возможность соотнесения той «галиматии» с сегодняшней «неофициальной словесностью». Что ж? Были ли польщены? Напротив. Одни полуклассик нашего «авангарда» истерически заявили: если никто не собрался ответить моей статье, содержащей столь лестное допущение, статьей-пошечниной, значит, хана. Литературный процесс кончился.

Честное слово, так и было сказано.

Понимаю доморощенного полуклассика. Ему, им мало быть частью процесса, вектором и симптомом; хочется стать концом и венцом. Бессквозняковый тупик теплее и уютнее исторического распутия — но какая мелочность притязаний, какая жалкость амбиций!..

Или именно это считается адекватным духу нашего времени? И, стало быть, снова приходится согласиться с поманутым партизаном: То был век богатыйрей! Но смешались шашки, И полезли из щелей Мошки да букашки?

Что там ни говори, обидно — даже за время, каково б оно ни было. Литература должна быть лучше и прозорливее сущей реальности. Если не так, вырождение неизбежно. Увы.

Карамзинист Николай Штырков

14.6.01